

вожным и трагическим XIX» [1, с. 20]. А финал XX века поводов для оптимизма дал еще меньше.

Впрочем, до отчаяния очень далеко. Есть у Наты Сучковой какое-то редкое и полное осознание мира вокруг. И восприятие мира без лишних иллюзий. Однако, с любовью. Любят-то ведь часто вопреки. А что пауза, наступившая вслед за «Ходом вещей», тянется уже пять лет – так бывает. Тем более, что три книги, рассмотренные нами в данной статье, являются собой, при несомненной ценности каждой из них, единое, внятное и завершенное высказывание – факт несомненный. Далее возможно только новое и разное.

Литература

1. Адамович, Г. Памяти Поплавского / Г. Адамович // Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современни-

ков. – Санкт-Петербург: Logos; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1993. – С. 18–23.

2. Астафьев, В. Затесь о Николае Рубцове / В. Астафьев // Попов Н.В. Николай Рубцов в воспоминаниях друзей: ранее не опубликованные стихотворения и материалы. – Москва: Центрполиграф, 2008. – С. 115–155.

3. Панишева, Н.А. Поэтика пространства и времени в лирике Арсения Несмелова: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность 10.01.01 «Русская литература» / Панишева Наталья Александровна. – Киров, 2013. – 24 с.

4. Сучкова, Н. Деревенская проза / Ната Сучкова. – Москва: Воймега, 2011. – 76 с.

5. Сучкова, Н. Лирический герой / Ната Сучкова. – Москва: Воймега, 2010. – 56 с.

6. Сучкова, Н. Ход вещей / Ната Сучкова. – Москва: Воймега, 2014. – 64 с.

Andrey Permyakov

LOOKING AT HOME: TRILOGY BY NATA SUCHKOVA

This publication is devoted to the dynamics of Nata Suchkova's poetics. It has been a path from setting the boundaries of her own literary and personal world to transgressing the boundaries and reflecting on the chronotope in its permanent movement.

Contemporary poetry, changing poetics, constructing the past, Nata Suchkova, Vologda, chronotope.

УДК 821.161.1(470.12)



Н.А. Сучкова
поэт (Вологда)

Л.В. Егорова

Вологодский государственный университет

НАТА СУЧКОВА. ПРИБЛИЖЕНИЕ К БИОГРАФИИ

Обсуждение с поэтом Натой Сучковой искусства биографии в отношении ее жизни и творчества, а также проблем принадлежности традиции, памяти, языковой среды, работы со смыслами и др.

Ната Сучкова, биография, искусство биографии, Вологда.

Л. Е. Думаю, Ваш будущий биограф будет благодарен нам, если нам с Вами сейчас удастся приблизиться к *искусству* биографии. О глубочайшей и труднейшей задаче жизнеописания писал Владимир Вейдле в статье «Об искусстве биографии» (1931): «Затронуть тот основной узел творческой судьбы, которым жизнь привязана к искусству» [1, с. 131]. «Биография художника, поэта по-настоящему будет написана только тогда, когда биограф сумеет в нее включить не одну лишь действительность его жизни, но и порожденный этой жизнью вымысел, не только реальности существование, но и реальности воображения. Истинной биографией творческого человека будет та, что и самую его жизнь покажет как творчество, и в творчестве увидит преобразенной его жизнь» [1, с. 131].

Т.А. Касаткина напоминает, что жизнь не укладывается в конструкцию и структуру «насущенного види-

мо-текущего», по Достоевскому, и то, что нам представляется приключениями сознания, для человека пишущего есть центральные, стержневые эпизоды биографии [2, с. 245].

Я понимаю, сколь это трудно, но могли бы Вы рассказать об основополагающих событиях жизни, включая «реальность воображения».

Н. С. У нас у всех, и поэты тут, разумеется, не исключение, есть такие события. Я, с одной стороны, не очень люблю распространяться о личном в таких вот публичных разговорах. Все сказано в стихах, и это, ей Богу, не пафос и не кокетство, так и есть. Но Вы правы, может быть, именно поэтому и даю повод некоторым враждебным критикам высказываться обо мне таким образом, что, мол, чего там за душой-то, это все выдуманно, надумано, утащено откуда-то, НЕ ПЕРЕЖИТО, все это не более, чем красоты стиха,

за ними нет БИОГРАФИИ. Это типичное, кстати, обвинение в адрес поколения. Слава Богу, нас минули революции, войны, вынужденная эмиграция, все эти страшные вещи, которые травмировали и одновременно формировали целые поколения. И все же у каждого из авторов 35–40 плюс – своя история. Нелучайно у условных поэтов «Воймеги», которые мне особенно близки именно смыслово, так сильна ностальгическая нотка. Не потому, наверное, поэтизируем мы советское детство, все эти школьные фартучки, подшитые воротнички, мелки, прыганье на резинке, что хотим обратно в социализм, – мы были слишком малы, чтобы тогда что-то вообще понимать в политике. Это все приметы и предметы, мелкие детали нашего детства. Для меня, прежде всего, это время, когда были живы родители, конечно, я стремлюсь туда – проговорить и еще раз прожить это. Или даже просто прожить то, чего была лишена, вот так, условно виртуально, в стихах.

Не знаю, захотите ли вы взять этот текст или цитату из него, ну, собственно, это как раз об этом.

*Даже не волей – порывом отчаяния
Вспомнить то время: меня еще нет,
Папа заходит и ставит чайник,
Мама заходит и выключает
Чайник и гасит свет.
Вот они в сумерках непроглядных,
Боже, еще их мгновенье не тронь!
Мама его по щеке погладит,
(Время – короткое, как халатик.)
Папа ее поцелует в ладонь.
Что с этим делать, увы, непонятно:
Крикнуть, прижаться, бежать со всех ног?
Я получился такой невнятный
(Равно похожий? Ну, это вряд ли...),
Ломаный, как цветок.
Я им придумал за всё, что забыто,
Вроде бы так отдаю должок.
Вот и стою, как цветок, – раскрытый,
Укорененный, втоптаный, врытый –
Там, где меня – не должно.*

Я смутно все же понимаю, как работает этот механизм в моем конкретном случае. С одной стороны, страстное желание вспомнить. С другой – стремление забыть. Потому что, когда ты теряешь маму в шесть лет, мозг запускает обратный механизм памяти, стирает болезненные воспоминания. Но это потрясение из таких, которые не стираемы. И ты забываешь все, что было до, но помнишь – похороны, маму в гробу, и когда это твои самые яркие детские воспоминания, то понятно, наверное, какой силы эта психологическая травма.

Поэтому в случае со мной, я думаю, тут есть у текстов и задача психотерапевтическая – это я сейчас так пытаюсь проанализировать эмоцию. С другой стороны, конечно, как в старой песенке беспризорника: «Не плачьте, дяденька, не вы один сиротка!» Мы все, без исключения, чем-то да травмированы, другое дело, что в моем конкретном случае это нашло вот такой выход – в стихи. Но снова повторяюсь – тысячи людей переживают похожее, сотни из них пишут стихи, другой вопрос, сколько в этой сотне пишущих будет

поэтов? Как говорил Оден, «степень экзальтации, которую испытывает писатель во время работы, гарантирует качество результата в той же мере, в какой экзальтация священника гарантирует наличие божества. Иными словами – почти ничего не гарантирует».

Причем я думаю, что глобальность этой травмы имеет, конечно, значение, но важнее ее осмысление – гораздо меньшие вещи могут влиять на автора с той же и даже большей силой: дело тут в восприимчивости. С мамой Женей, моей приемной мамой, второй женой отца, которая воспитала меня (я ей невероятно благодарна и страшно люблю), мы смотрели когда-то много лет назад фильм про Камо, «Последний подвиг Камо», если не ошибаюсь. И там есть сцена, когда героя пытаются, но он не произносит ни звука и вообще никак не показывает палачам свои страдания, и только один среди них, врач, которого принуждают к этому, заглядывает ему в глаза и видит, как расширились зрачки от боли. И мама Женя, а она у меня врач-невролог (у меня вообще все врачи: родная мама Галя – анестезиолог, отец – патологоанатом), и в этом смысле я ей доверяю, сказала, что это, конечно, вымысел с точки зрения физиологии. И еще одно – потрясшее меня тогда: боль никак нельзя измерить. Боль – это очень индивидуальная вещь, ее сила и интенсивность зависят только от восприятия того, кто эту боль испытывает: то есть кто-то руку в огне может держать и ничего, а другой палец булавкой уколёт – и болевой шок получит. Это некая метафора, если понимаете, о чем я.

Она, кстати, коррелирует с записями Марины Цветаевой, когда та говорит о роскоши чисто внутренней, чисто поэтовой несчастью – «красоте, богатству, дару вопреки». Поэтому – вернемся к враждебным критикам, как только разговор заходит в отношении кого угодно об отсутствии биографии, хоть пятнадцатилетки, пишущего стихи, – мне есть чего возразить.

Но тема эта для меня неисчерпаема, конечно, потому что в последние годы я очень и очень много об этом думала. Тут вот можно перейти, собственно, и к творчеству. Потому что раньше я, безусловно, раны свои пыталась расковырять, содрать хрумки, эта такая была своего рода эксплуатация травмы, как бы позорно это ни звучало. А сейчас мне, напротив, хочется рану эту закрыть, забинтовать. Может быть, поэтому меняется и поэтика, и экспрессия, ее направленность несколько иная. Другое дело, что это такая рана, что, как ты ее ни бинтуй, ты ее до конца не вылечишь. Но можно научиться с этим жить. Наверное, можно. Ну, я пытаюсь, по крайней мере.

Л. Е. Для меня проговаривание все меняет. И реакция другого человека. Она всегда оказывается иной, чем мне представляется, и я давно для себя поняла, что мне разумнее спрашивать и обсуждать. Вы молча переживаете, да?

Н. С. Про маму я только недавно начала вслух проговаривать, даже сама с собой боялась. С отцом я эту тему не поднимала вообще, с бабушкой (маминой мамой) – тоже. Боялась их чувства задеть, почему-то мне казалось, что им это будет так же тяжело, как мне. А они, может, ждали, что я заговорю, чтобы начать рассказывать. Как знать... Сейчас жалею.



*Отец (второй справа) и мама (рядом с ним, третья справа), видимо, со студенческой группой.
Ярославль*

Л. Е. Да, я понимаю... Рискну спросить, есть ли у Вас те, кого считаете учителями – в каких-то отношениях?



Мама Галя и Ната

Н. С. Бабушек своих считаю. Мне повезло, у меня их было три. Баба Клава, баба Маня и бабушка Валя. Они не то чтобы учителя, скорее, проводники такие родовые, которые связь семейную позволили осознать. Причем осознаю я ее, пожалуй, только сейчас, но через них, уже ушедших. Мне в юности казалось, я тут такой диковинный цветок, занесенный из прерий в ромашки на лугу. Как в песне: «Я не мамкин сын / Я не тяткин сын / Я на горке рос / Меня ветер снес».

Ничего подобного, конечно! Тутушный я, здешний, мне даже в FaceApp свое селфи загонять не надо. Присылают тут фото с выступлений – папа Саша хмурит лоб, а нет, – это я стихи со сцены читаю. Или племянник засмеется – ну точно брат маленький лопоухий перед глазами. Вот эта штука – родовая память, вписанность в свиток этой бесконечной смены поколений тоже с годами меня стали очень сильно занимать. Дедов я своих не застала, только Николая (причем потеряла и его рано, он ушел раньше мамы, то есть мне лет пять было, остальные и вовсе до моего рождения), но я с ними диалог веду постоянный. Ну,

собственно, весь «Ход вещей» об этом. Там есть это стихотворение про разговор Николая и Бориса, моих дедов – по папиной и маминой линии, который идет уже не здесь, уже за пределами – вот эта какая-то, наверно, квинтэссенция того, что меня занимает. Это вдруг сейчас, понимаете, стало для меня особенно важно!

Л. Е. Очень понимаю.



*Папа, Сучков Александр Николаевич,
студент Ярославского меда*



Баба Валя



*Мама Женя – Сучкова Евгения Владимировна
и племянники Наты*



*Дед Борис – Кучеров Борис Яковлевич,
маленькая мама Галя и бабушка Валя –
Кучерова Валентина Константиновна*

Н. С. Возможно, и потому, что уже такой возраст, что близких за этим рубежом уже много больше, чем на земле.

Говорит дед Никола, окая, давно уже мертвому деду Борису:

*«Лучше видно вот с этого облака, что в цветной тебе телевизор!
Или с дота того, непрочного, вон, всё в дырах залатанных, в щелях,
Что ж ты плохо следишь за дочерью, или, как тут глаголят, дщерью?»*

Отвечает Борис вновь прибывшему бородатому Николаю:

«Здесь нельзя смотреть вниз, как по телевизору про цыганей и Будудая,

Ничего здесь, прошу, не трогайте – эта оптика дорогая,

Я давно тут, и я на много про живых глаза закрываю.

Если б жизнь на земле ворочалась волей нашей, и нашей – тоже,

Я бы вашего сына дочери пожелал бы в мужья? Что ж – может...»

Пропустили бы, эх, по маленькой, со знакомством – пехота с танкистом,

Дед Никола – худой и старенький, дед Борис – молодой, плечистый.

Обходя кучевые тучные только с краю, по бороздам:

«До чего ж хорошо окучено, я бы лучше не сделал сам!»

Так и ходят: у Николая в рукаве мельтешит пчела,

А Борису шинель полевая, ох, мала, и давно мала,

Собирают в кисет солдатский (табачку бы!) цветки акаций,

И никак не договорятся, и никак не наговорятся.

Л. Е. Одно из моих любимых «видений».

Н. С. А если про литературных учителей, то я Галину Щекину назову, конечно. Не в плане даже ученичества, а в плане того, что она была, безусловно, тем человеком, который меня в конце 90-х за ручку

взял и повел к таким же «папусам», как я, – к пишущим. Я, наконец, нашла людей, я сейчас говорю о Лито «Ступени», которые занимались стихами, прозой, и это было очень серьезно и не выглядело полным безумием. Потому что я писать где-то классе в 9 начала и до второго курса академии больше таких же «ненормальных» не встречала. Классики, конечно, существовали, но в книгах, а тут реальные, живые люди, караул же! Это была другая эпоха – никакого Интернета, мобильных. У меня даже и городского телефона-то года до 2004 года не было, я бегала в автомат на Горького звонить Гале за 2 копейки, чтобы новый стих прочитать, поделиться. Вот когда Вам или Вы в последний раз звонили, чтобы стихи почитать?

Л. Е. Со мной как раз это вполне реально, но понимаю, что не очень распространено.



Мама – Сучкова Галина Борисовна и Ната

Н. С. То-то и оно! А тогда это вообще было нормально. Для нас нормально, да.

Л. Е. Ваша память избирательна? выборочна?

Н. С. Я не помню (хм, не помню цитату о памяти – дешевый каламбур, но уж как есть), кто это сказал, Ахматова, может, что наша память – уникальный механизм забвения и мы помним не то, что было, а то, что когда-то вспомнили. У меня очень плохая память. Кроме, разве что, памяти на стихи. Я с удивлением слушаю, к примеру, рассказы своей школьной подружки о каких-то школьных наших делах, при этом они так яркие, с подробностями, а у меня просто пустота, провал. С именами, лицами вообще катастрофа. Одно время, была моложе, меня пугали встречи со знакомыми, у которых были в колясках дети, – потому что я понимала, что мы встречались пару месяцев назад – у них родился... а кто: сын, дочь? Позорно как-то, вот же малыш, а они ведь в коляске, и не очень понятно, кто там лежит – девочка, мальчик. Про имена вообще молчу. Судорожное какое-то перебирание, всполохи. Возможно, это все тот же защитный механизм, но жизнь усложняет сильно. Мемуары мне писать будет сложновато, факт. Наверно, и на творчество влияет, все события немного искажаются, как сквозь заплаканное стекло. По сути, возможно, писание стихов –

это на самом деле и есть некоторое такое искажение... реальности, воспоминаний.

Л. Е. Да, понимаю. А память на стихи у Вас отличная? Как было написано «Рождественское»? – «Везут на саночках младенца, / И загорается звезда». Вы помните наизусть Бродского?

*Стоят, сполна всего помыкав
Среди затоновской шпаны,
У бара «Золотая рыбка»,
Торжественные как волхвы,
Чернее угря Вася-Череп,
Белее моли Ваня-Хан,
Стоят в рождественский сочельник,
Фанфурик делят пополам.
И мимо них – куда им деться?
Не раствориться никуда –
Везут на саночках младенца,
И загорается звезда.*

Н. С. Раньше была отличная и на стихи. Теперь уже нет, увы. Но удивительным образом все прочитанное, я уверена, пишется в каком-то фоновом режиме на подкорку и в нужный момент... раз! – и выпрыгивает. В стихи в том числе. Вы, наверно, сейчас о «Рождественском романсе» Бродского? Да, «Плывет в тоске необъяснимой...» – одно из самых любимых. Хотя я и не большой фанат Бродского, но некоторые стихи, конечно, помню наизусть. Понятно, почему такой вопрос – рождественские, это, конечно, Бродский сразу на память идет, отдаю себе отчет. Но слишком мало у меня с ним все-таки, наверно, общего.

Л. Е. Даже не знаю, о какой звезде подумалось – но о звезде: «...младенец крепко спал. / Звезда светила ярко с небосвода» («Рождество» 1963 года), «...смотришь в небо и видишь – звезда» (1971), «Звезда от других отличалась / сильнее, чем свеченьем, казавшимся лишним, / способностью дальнего смешивать с ближним» (1990).

Н. С. Что до моих «Стоят, сполна всего помыкав», они, как и еще несколько рождественских, новогодних, крещенских – «О, маленький вертеп, наверно...», написаны с натуры. Вот я прямо как сейчас помню этот момент: сочельник, храм Андрея Первозванного, саночки с младенцем, хануриков этих. Именно, понятно, я уже им сама дала, как и историю их придумала. Но стояли они там – пивнушка в 219 доме по Набережной 6 Армии тогда называлась «Золотая рыбка», где-то даже фото есть, было с этой вывеской. А маленький вертеп – это уже другой прибрежный наш храм – Николая Чудотворца во Владычной слободе. И дом – «двухэтажный» – он недавно совсем расселен, остов его сторевший и сейчас стоит – рядом с галереей «Красный мост», последний в череде особенностей. Двор его выходит прямо на церковь Николая, и старик стоял, и помой выливал – все так и было. Мне нравится этот процесс – трансформировать обычное, даже грубое – в чудесное. Потому что оно, чудесное, везде заключено, поэтому «И это тоже Рождество».

*О, маленький вертеп! Навернено
из ваты агнцев, и над головой –*

*все звёзды из фольги серебряной,
а Вифлеемская – из золотой.
У входа в храм прибита вешалка,
и снимали ходоки –
как шкуры тварные развешаны,
дымятся их пуховики.
И воском, и смолой закапаны
венецианского стекла
шары, и ёлка теплой лапою
мне по запястью провела.
Горел над слободой барачною
фольгой сусальной небосвод,
когда в мороз из церкви праздничной
толпою вывалил народ,
старик из дома двухэтажного
понёс отхожее ведро,
и улыбнулся, и закашлялся,
и это – тоже Рождество.*

Л. Е. Хочу спросить про Ваше ощущение принадлежности традиции. Поясню. Я с большим интересом прочла статью Натальи Мелехиной. Чувствуется, что она пишет о важной для нее теме, и я благодарна за акцентирование старинного обряда пеленания новорожденных в одежду старших членов семьи в связи с «Хорошо да сладко спати, не бояся мертвых...», за пояснение деревенских реалий в «Как круглей всего земля с северу, / Как наелися теля клеверу...». Но для меня даже отнесение Вас к «новому провинциализму» мало что дает [3, с. 136]. Да, Вы родились в Вологде. Стань Ваша Муза столичной, с таким же успехом можно было бы говорить о замысловатости Вашего московского говорка. Нет? Ваша речь играет самыми разными красками, и в ней / в Вас – предельная глубина: память мифологического предания.

И еще один поворот мысли. Вы являетесь чутким и смелым экспериментатором разговорной речи. Думая о заглавии статьи, я бы вполне могла остановиться на, скажем, «Изловили дыр бул щил и обратно выпустим», но и новофутуризм я бы тоже не стала преувеличивать. Ваши стихи удивительно – без противоречий между собой – народны и литературны, просты и изысканны. И так, говоря о традиции...

Н. С. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Я могу, конечно, причислять себя и к «новым провинциалам», и к кругу «Воймеги» или еще как-то маркировать себя. Но это будет очень условно. Я думаю, что дело, с одной стороны, ох, нескромно, наверно, прозвучит – в собственном голосе, а с другой – голос без слуха тоже ведь ничто. И тут под слухом я имею в виду буквальное «слышание» – всего вокруг. Деревенских бабушек, горожан в шлепках с пивасиком, чиновников, какие-то разговоры в плацкарте или автобусе, обрывки рекламных слоганов, объявлений и, безусловно, чужие хорошие стихи. Думаю, мне как-то удалось обуздать этот дар пересемшника, о котором мы много говорили, кстати, с Элей [3, с. 149], и подчинить его собственному голосу. Но и сказать, что я вне традиций, было бы странно. Я пишу совершенно в классической просодии и даже не особо пытаюсь ее расшатать – мне вполне в ней комфортно. Другое дело, что и на форме не закикливаюсь. Прошли те времена, когда меня смущали приблизительные рифмы,

отпала необходимость, как мы говорили на ЛИТО у Гали, «строить забор» – когда рисуешь схему ударных-безударных слогов, чтобы шаткое сооружение стиха не завалилось на соседский сарай. Завалится – так и славно. В конце концов, нет ничего скучнее правильных стихов! Это не значит, что работа над текстом отсутствует, напротив, никогда я не сидела столько над «шлифовкой» текста, как теперь. То есть за этой небрежностью стоит работа, такая «растрепанность» звезд Голливуда, на которую за кадром стилист потратил несколько часов.

Л. Е. Кого из поэтов Вы цените? Это меняется?

Н. С. Я очень люблю позднего Георгия Иванова. Слуцкий, мне кажется, очень недооценен. Из современников – Борис Рыжий и Денис Новиков. Вообще, для меня поэзия с Есенина началась. Потом – Ахматова, еще позже – Цветаева. Под Цветаевой я просто погребена была пару лет в юности – это как под камнепад попасть, очень сильная энергетика, которая тебя против воли утаскивает под эту метафорическую груду. Для молодых поэтов, тем паче поэтесс, Цветаева, конечно, мощное испытание. Тут уж кому как повезет: или хребет сломает и так там и останешься под завалом – уже без собственного стержня, или вылезешь на свет Божий, ноги-руки поломаешь, вроде и цел, но почерк (перелом – штука коварная!) уже не будет прежним. Безусловно, и круг любимых авторов, и предпочитаемая стилистика с возрастом и читательским опытом меняется. У меня – от Цветаевой с ее суггестией до Иванова времен «Роз», когда все предельно просто, но просто очумительно как прекрасно – именно своей простотой. Именно простоту сейчас и ценю, иногда даже нарочно себя ограничиваю количеством строк: 8–12 – вполне достаточно. Не зря сонеты – 14 строк. Это сложно – нужно над плотностью текста максимально работать. Это я про письмо уже сейчас. И на таком объеме (опять же Иванов – то его, где «настоящих слов мы не находим, а приблизительных мы больше не хотим!») нужны прямо очень настоящие слова. Потому что удельный вес, сила каждого слова в коротком тексте должна быть максимальной: нет времени на разбег, очень короткая взлетная полоса.

Л. Е. Образ поэта запечатлевается в ритмике? звучании? развитии темы? ...?

Н. С. И в ритмике, и в звуке, конечно. Почему Маяковского ни с кем не спутать, Цветаеву? А еще – это уже более тонкая настройка слуха – в паузах, в недоговоренности. Как в музыке: она ведь не только из звуков состоит, но, в равной мере, – и из тишины.

Вот характерный пример узнаваемой недоговоренности у Иванова, где весь смысл – в ремарке в скобках, где понимаешь степень отчаяния только дочитав до конца, вообще, о чем это – понимаешь, только считывая эту недоговоренность.

*Синеватое облако
(Холодок у виска)
Синеватое облако
И еце облака...*

Что это? Пока не ясно. Ну холодок, да мало ли холодок. И дальше:

*И старинная яблоня
(Может быть, подождать?)
Простодушная яблоня...*

Подождать? О чем это он? И потом в финале – это «улыбнись и нажми», «с первым боем часов»... И все – картинка сложилась: «холодок у виска» явственно становится холодком от дула пистолета. И текст – с ног на голову переворачивается, ты понимаешь, что это последний миг перед выстрелом. Ничего себе лирическая зарисовочка!

Л. Е. Поэзия это – форма жизни? форма мысли?

Н. С. Это все-таки продукт, наверное. Сложный вопрос. Как знать, что такое поэзия? Никак не определить. Форма ли мысли, чистая ли эмоция? Нечто эфемерное, но реальное. Сразу понятно, когда она есть в тексте. И еще более очевидно, когда ее там нет.

Л. Е. Язык, как и всё, сильно меняется. По-моему, Вы чувствуете себя в динамичных условиях как рыба в воде, но все же уточню, так ли это и Ваше ощущение изменений.

Н. С. Вот именно, как рыба в воде. Языковая среда, по сути, – воздух, которым дышим. Не замечаешь, пока все нормально, просто функционируешь. Без него – сколько там, минуты три? Ну, пять, максимум. Но при этом – есть такая штука, как состав воздуха – разреженный, как в горах, или, наоборот, насыщенный кислородом. А есть еще более тонкие настройки – дуновение ветра, запахи, сквозняки. Обычный человек, не невротик, как правило, большого внимания таким вещам не придает, не концентрируется, скажем, – ну сквозняк и сквозняк. Поэты (те еще невротики!) способны, конечно, улавливать малейшие колебания. Я сразу, например, узнаю тексты (даже современные – сегодня, сейчас написанные) эмигрантов, уехавших лет 15–20 назад. Это – неуловимое движение языка, вроде все по-русски и очень талантливо, но очевидно, что написано тем, кто выпал из среды, больше этим воздухом не дышит. Это просто ощущается. Как-то нарочно работать с этим смысла не вижу – мы живем в языке. Естественно, любое его изменение отразится на тексте, не может не отразиться.

Л. Е. Я слежу за Вашей фоторубрикой «Вологда сегодня» в Фейсбуке. У нее много поклонников, и закономерен вопрос: чем привлекают внимание Ваши снимки? Думается, попыткой увидеть город Вашими глазами, получить возможность насладиться его уникальностью и, быть может, уловить движение времени. Наблюдая, скажем, за набережной, замечаешь переходы от привычных взгляду берегов (зеленеющих, разноцветных...) – живых – в разных ракурсах – к каменным, уничтоженным в своей природе – мертвым. Выкорчевывание деревьев, вздыбленная земля – ради того, чтобы спрятать под уродливыми плитами (я оценила Ваши «козинаки») естественную жизнь. Потом наступает время снятия части плит, и много-страдальная река снова ждет. Фотолента перематывается быстро, и уходящее/ушедшее так больно и так явно. Вы хотели бы это издать? Что для Вас проект «Вологда сегодня»?

Н. С. Не думаю, что это интересно вне контекста сети. Это начиналось не как проект, да и сейчас, по сути, проектом не является. Мне просто было лень

придумывать подписи к этим мгновенным фото с телефона. И я стала просто писать два слова «Вологда сегодня». А дальше – моя Фудзияма меняется сама, проект, если хотите его так назвать, двигается просто потому, что есть эти изменения. Они не только рукотворные – природные: времена года, извечный цикл. И в то же время есть в этом какая-то константа, ощущение того, что, как в рокерской песне, «Ничего не может измениться. Все прекрасно, даже это». Живя в России, тем более в провинции, с годами постигаешь некий дзен: *...И повторится все, как встарь: / Ночь, ледяная рябь канала, / Аптека, улица, фонарь.*

Л. Е. Вы всегда работаете со словом? В Фейсбуке я часто попадаю впросак. Последний случай: видя яркий иван-чай на солнечной поляне, я читаю Ваше название «За кипреем!» – смотрю за цветок – обращаю внимание на Вашу тень. В комментариях читаю: «Уже пора?», «Тогда побегу», – и до меня доходит практический смысл заголовка. Вы играете обычно двумя смыслами? Бывают три?

Н. С. Нет, не всегда. Ваш пример – случайность. Я даже не замечала этой двусмысленности. Или опять работает подкорка, или мне везет на читателей, видящих вторые смыслы там, куда я не вкладывала нарочно. Но шутки шутками, а со стихами Вы правы. Мне не нравятся стихи-загадки, мне сложно бывает с некоторыми поэтами, которые делают из текста некий ре-

бус. И это, очевидно, ребус, потому что, если ты не знаешь отгадки, текст пройдет мимо тебя. Мне, скорее, нравится делать такие шкатулки с секретами. Вещи, понятные сами по себе. И понятные первым каким-то смыслом, если не копаться. Но для тех, кто чуть более подготовлен, есть второе дно. А во втором дне есть потайная дверца. И тем, у кого есть ключик, откроется еще и третий смысл. Но это не самоцель, конечно, так получается часто, но не всегда.

Л. Е. Спасибо. Счастливых отношений с языком и поэзией. Удачного «насущенного видимо-текущего».

Первое фото Наты – Алексей Кириловский, остальные – из архива Наты Сучковой

Литература

1. Вейдле, Владимир. Об искусстве биографа / Владимир Вейдле // Биография в истории культуры. Сборник статей / сост. и отв. ред. Е.В. Иванова. – Москва: Рутения, 2018. – С. 127–134.
2. Касаткина, Т.А. Что считать событием биографии? История любви к Мадонне: Пушкин, Достоевский, Блок / Т.А. Касаткина // Биография в истории культуры. Сборник статей / сост. и отв. ред. Е.В. Иванова. – Москва: Рутения, 2018. – С. 245–275.
3. Сучкова, Н. Соль вещей. Беседа вела Е. Погорелая / Е. Погорелая, Н. Сучкова // Вопросы литературы. – 2017. – № 4. – С. 135–153.

N.M. Suchkova, L.V. Yegorova

NATA SUCHKOVA. APPROACH TO THE BIOGRAPHY

Discussion with the poet Nata Suchkova of her biography – real/inward biography, as well as the problems of belonging to the tradition, of memory, of language/speech environment.

Nata Suchkova, biography, the art of the biography, Vologda.